# Лев Николаевич Толстой

# Стыдно

# Толстой Лев Николаевич

# Стыдно

Л.Н.Толстой

СТЫДНО

В 1820‑х годах семеновские офицеры, цвет тогдашней молодежи, большей частью масоны и впоследствии декабристы, решили не употреблять в своем полку телесного наказания, и, несмотря на тогдашние строгие требования фронтовой службы, полк и без употребления телесного наказания продолжал быть образцовым.

Один из ротных командиров Семеновского же полка, встретясь раз с Сергеем Ивановичем Муравьевым, одним из лучших людей своего, да и всякого, времени, рассказал ему про одного из своих солдат, вора и пьяницу, говоря, что такого солдата ничем нельзя укротить, кроме розог. Сергей Муравьев не сошелся с ним и предложил взять этого солдата в свою роту.

Перевод состоялся, и переведенный солдат в первые же дни украл у товарища сапоги, пропил их и набуянил. Сергей Иванович собрал роту и, вызвав перед фронт солдата, сказал ему: "Ты знаешь, что у меня в роте не бьют и не секут, и тебя я не буду наказывать. За сапоги, украденные тобой, я заплачу свои деньги, но прошу тебя, не для себя, а для тебя самого, подумать о своей жизни и изменить ее". И, сделав дружеское наставление солдату, Сергей Иванович отпустил его.

Солдат опять напился и подрался. И опять не наказали его, но только уговаривали: "Еще больше повредишь себе; если же ты исправишься, то тебе самому станет лучше. Поэтому прошу тебя больше не делать таких вещей".

Солдат был так поражен этим новым для него обращением, что совершенно изменился и стал образцовым солдатом.

Рассказывавший мне это брат Сергея Ивановича, Матвей Иванович, считавший, так же как и его брат и все лучшие люди его времени, телесное наказание постыдным остатком варварства, позорным не столько для наказываемых, сколько для наказывающих, никогда не мог удержаться от слез умиления и восторга, когда говорил про это. И, слушая его, трудно было удержаться от того же.

Так смотрели на телесное наказание образованные русские люди 75 лет тому назад. И вот прошло 75 лет, и в наше время внуки этих людей заседают в качестве земских начальников в присутствиях и спокойно обсуждают вопросы о том, должно ли, или не должно, и сколько ударов розгами должно дать такому и такому‑то взрослому человеку, часто отцу семейства, иногда деду. Самые же передовые из этих внуков в комитетах и земских собраниях составляют заявления, адресы и прошения о том, чтобы ввиду гигиенических и педагогических целей сечь не всех мужиков, людей крестьянского сословия, а только тех, которые не кончили курса в народных училищах.

Очевидно, перемена в среде так называемого высшего образованного сословия произошла огромная. Люди 20‑х годов, считая телесное наказание позорным действием для себя, сумели уничтожить его в военной службе, где оно считалось необходимым; люди нашего времени спокойно применяют его не над солдатами, а над всеми людьми одного из сословий русского народа и осторожно, политично, в комитетах и собраниях, со всякими оговорками и обходами, подают правительству адресы и прошения о том, что наказание розгами не соответствует требованиям гигиены и потому должно бы было быть ограничено, или что желательно бы было, чтобы секли только тех крестьян, которые не кончили курса грамоты, или чтобы были уволены от сечения те крестьяне, которые подходят под манифест по случаю бракосочетания императора.

Очевидно, совершилась страшная перемена в среде так называемого высшего русского общества; и что удивительнее всего, ‑ что эта перемена совершилась именно тогда, когда в том самом одном сословии, которое считается необходимым подвергать отвратительному, грубому и глупому истязанию сечения, в этом самом сословии совершилась за эти 75 лет, а в особенности за последние 35 лет со времени освобождения, такая же огромная перем 1000 ена, но только в обратном направлении.

В то время как высшие правящие классы так огрубели и нравственно понизились, что ввели в закон сечение и спокойно рассуждают о нем, в крестьянском сословии произошло такое повышение умственного и нравственного уровня, что употребление для этого сословия телесного наказания представляется людям из этого сословия не только физической, но и нравственной пыткой.

Я слышал и читал про случаи самоубийства крестьян, приговоренных к розгам. И не могу не верить этому, потому что сам видел, как самый обыкновенный молодой крестьянин при одном упоминании на волостном суде о возможности совершения над ним телесного наказания побледнел как полотно и лишился голоса; видел также, как другой крестьянин, 40 лет, приговоренный к телесному наказанию, заплакал, когда на вопрос мой о том, исполнено ли решение суда, должен был ответить, что оно уже исполнено.

Знаю я тоже, как знакомый мне почтенный, пожилой крестьянин, приговоренный к розгам за то, что он, как обыкновенно, поругался с старостой, не обратив внимания на то, что староста был при знаке, был приведен в волостное правление и оттуда в сарай, в котором приводятся в исполнение наказания. Пришел сторож с розгами; крестьянину ведено было раздеться.

‑ Пармен Ермилыч, ведь у меня сын женатый, ‑ дрожа всем телом, сказал крестьянин, обращаясь к старшине. ‑ Разве нельзя без этого? Ведь грех это.

‑ Начальство, Петрович... я бы рад, что делать? ‑ отвечал смущенный старшина.

Петрович разделся и лег.

‑ Христос терпел и нам велел, ‑ сказал он.

Как рассказывал мне присутствовавший писарь, у всех тряслись руки, и все не смели смотреть в глаза друг другу, чувствуя, что они делают что‑то ужасное. И вот этих‑то людей считают необходимым и, вероятно, полезным для кого‑то, как животных, ‑ да и животных запрещают истязать, ‑ сечь розгами.

Для блага нашего христианского и просвещенного государства необходимо подвергать нелепейшему, неприличнейшему и оскорбительнейшему наказанию не всех членов этого христианского просвещенного государства, а только одно из его сословий, самое трудолюбивое, полезное, нравственное и многочисленное.

Высшее правительство огромного христианского государства, 19 веков после Христа, ничего не могло придумать более полезного, умного и нравственного для противодействия нарушениям законов, как то, чтобы людей, нарушавших законы, взрослых и иногда старых людей, оголять, валить на пол и бить прутьями по заднице [И почему именно этот глупый, дикий прием причинения боли, а не какой‑нибудь другой: колоть иголками плечи или какое‑либо другое место тела, сжимать в тиски руки или ноги или еще что‑нибудь подобное? (Примеч. Л. Н. Толстого.)].

И люди нашего времени, считающие себя самыми передовыми, внуки тех людей, которые 75 лет тому назад уничтожили телесное наказание, теперь почтительнейше и совершенно серьезно просят господина министра и еще кого‑то о том, чтобы поменьше сечь взрослых людей русского народа, потому что доктора находят, что это нездорово, не сечь тех, которые кончили курс, и избавить от сечения тех, которых должны сечь вскоре после бракосочетания императора. Мудрое же правительство глубокомысленно молчит на такие легкомысленные заявления или даже воспрещает их.

Но разве можно об этом просить? Разве может быть об этом вопрос? Ведь есть поступки, совершаются ли они частными людьми, или правительствами, про которые нельзя рассуждать хладнокровно, осуждая совершение этих поступков только при известных условиях. И сечение взрослых людей одного из сословий русского народа в наше время и среди нашего кроткого и христиански просвещенного народа принадлежит к такого рода поступкам. Нельзя для прекращения такого преступления всех законов божеских и человеческих политично подъезжать к правительству со стороны гигиены, школьного образования или манифеста. Про такие дела можно или совсем не говорить, или говорить f74 по существу дела и всегда с отвращением и ужасом. Ведь просить о том, чтобы не стегать по оголенным ягодицам только тех из людей крестьянского сословия, которые выучились грамоте, все равно что если бы, ‑ где существовало наказание прелюбодейной жене, состоящее в том, чтобы, оголив эту женщину, водить ее по улицам, ‑ просить о том, чтобы наказание это применять только к тем женщинам, которые не умеют вязать чулки или что‑нибудь подобное.

Про такие дела нельзя "почтительнейше просить" и "повергать к стопам" и т. п., такие дела можно и должно только обличать. Обличать же такие дела должно потому, что дела эти, когда им придан вид законности, позорят всех нас, живущих в том государстве, в котором дела эти совершаются. Ведь если сечение крестьян ‑ закон, то закон этот сделан и для меня, для обеспечения моего спокойствия и блага. А этого нельзя допустить. Не хочу и не могу я признавать того закона, который нарушает все законы божеские и человеческие, и не могу себя представить солидарным с теми, которые пишут и утверждают такие преступления под видом закона.

Если уже говорить про это безобразие, то можно говорить только одно: то, что закона такого не может быть, что никакие указы, зерцала, печати и высочайшие повеления не сделают закона из преступления, а что, напротив, облечение в законную форму такого преступления (как то, что взрослые люди одного, только одного, лучшего сословия могут по воле другого, худшего сословия ‑ дворянского и чиновничьего ‑ подвергаться неприличному, дикому, отвратительному наказанию) доказывает лучше всего, что там, где такое мнимое узаконение преступления возможно, не существует никаких законов, а только дикий произвол грубой власти.

Если уже говорить про телесное наказание, совершаемое только над одним крестьянским сословием, то надо не отстаивать прав земского собрания или жаловаться на губернатора, опротестовавшего ходатайство о иссечении грамотных, министру, а на министра сенату, а на сенат еще кому‑то, как это предлагает тамбовское земство, а надо не переставая кричать, вопить о том, что такое применение дикого, переставшего уже употребляться для детей наказания к одному лучшему сословию русских людей есть позор для всех тех, кто прямо или косвенно участвуют в нем.

Петрович, который лег под розги, перекрестившись и сказав: "Христос терпел и нам велел", ‑ простил своих мучителей и после розог остался тем, чем был. Одно, что произвело в нем совершенное над ним истязание, это ‑ презрение к той власти, которая может предписывать такие наказания. Но на многих молодых людей не только самое наказание, но часто одно признание того, что оно возможно, действует, понижая их нравственное чувство и возбуждая иногда отчаянность, иногда зверство. Но не тут еще главный вред этого безобразия. Главный вред ‑ в душевном состоянии тех людей, которые устанавливают, разрешают, предписывают это беззаконие, тех, которые пользуются им, как угрозой, и всех тех, которые живут в убеждении, что такое нарушение всякой справедливости и человечности необходимо для хорошей, правильной жизни. Какое страшное нравственное искалечение должно происходить в умах и сердцах таких людей, часто молодых, которые, я сам слыхал, с видом глубокомысленной практической мудрости говорят, что мужика нельзя не сечь и что для мужика это лучше.

Вот этих‑то людей больше всего жалко за то озверение, в которое они впали и в котором коснеют. И потому освобождение русского народа от развращающего влияния узаконенного преступления ‑ со всех; сторон дело огромной важности. И освобождение это произойдет не тогда, когда будут изъяты от телесного наказания кончившие курс, или еще какие‑нибудь из крестьян, или даже все крестьяне, за исключением хотя бы одного, а только тогда, когда правящие классы признают свой грех и смиренно покаются в нем.

14 декабря 1895 г.